

ЮРИЙ НАГИБИН: Я РАССТЕГНУЛ ВСЕ ПУГОВИЦЫ...

**В ПРЕДСМЕРТНОЙ КНИГЕ СОВЕТСКИЙ КЛАССИК И ВЕЧНЫЙ КОНФОРМИСТ
СКАЗАЛ ВСЮ ПРАВДУ О СЕБЕ**

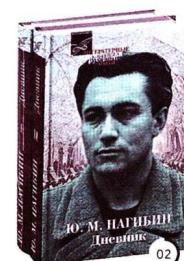


Б

«Быть честным и оставаться в живых—это почти невозможно...»

М-да, господа! Перечтите слова. Что же это? Пощечина нам, напутствие или все-таки—приговор? Ведь и пожить хочется еще, да и честным оставаться при этом... Но сама мысль эта, высказанная когда-то Дж. Оруэллом, уже много лет не дает мне покоя.

Конечно, это—приговор! Или—или. Особенно для художника. Я понял это, узнав поразительный факт. Оказывается, Нагибин, куда как известный писатель, самую честную книгу свою при жизни так и не увидел. Сдал в издательство и чуть не в тот же день умер.



° 1, 2
Юрий Маркович
Нагибин и его дневники.

Собирался еще писать и писать, но лег вздремнуть в своем коттедже и — не проснулся...

Во сне, говорят, умирают счастливые. Но после знакомства с его «Дневником» жизнь Нагибина трудно назвать счастливой. Да, все считали его — красавца, таланта, богача и многоженца, весельчака и жизнерадостного, этакого первого «советского плейбоя» — именно счастливчиком. Ему завидовали, искали с ним дружбы, в него с лету влюблялись женщины и даже эрдели его, собаки, не чаяли в нем души. И никто даже не догадывался: он прожил как бы две жизни — одну как на сцене или в кино, и вторую, может самую драматичную — тайную.

«Танцуй, мальчик!»
(Армянский пер., 9/1/1)

Его не хотела сама жизнь, а он — родился. Мать, забеременев им и узнав, что муж ее, дворянин Кирилл Нагибин, в том же 1920-м был расстрелян как участник белого мятежа, всеми силами пыталась избавиться от плода. «Я со всех шкафов прыгала, чтобы случился выкидыш, — признавалась потом, — но сын все равно родился...» Правда, почти всю жизнь прожил не «Кирилльчём», а — «Марковичем». И не русским по крови, о чем, как и о настоящем отце своем узнал позднее, а — полуевреем.

Родился в огромном доме на Армянском, на третьем, тогда еще последнем этаже, в коммуналке «с длинноящим коленчатым коридором». Мать его, Ксения Каневская, «красавица невероятная», дабы скрыть дворянское происхождение сына, дала мальчишке отчество второго мужа, адвоката Марка Левентала. А когда в 1927-м и за ним пришли чекисты, она, обожавшая Юру «до невозможности», связала свою жизнь с третьим — писателем Яковом Рыкачёвым.

Его тоже арестуют в 1937-м. Но именно он и окажет влияние на писательскую будущность Юрия Нагибина.

Дом этот и детство свое на Чистых прудах писатель опишет со всех сторон. «Я гордился своим большим домом», — напишет незадолго до смерти. Дом был построен за полвека до его



03

рождения для купца Торопова, но знал ли Нагибин, интересовавшийся позже «московской стариной», что на месте дома его в «мохнатые времена», в 1650-е годы, стояли палаты боярина Артамона Матвеева, где жила его бедная родственница Наталья Нарышкина, с которой как раз здесь познакомился ее будущий муж, царь Алексей Михайлович, от будущего брака с которым и появится на свет Петр I?..



ВСЕ СЧИТАЛИ ЕГО СЧАСТЛИВЧИКОМ. И НИКТО НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ: ОН ПРОЖИЛ КАК БЫ ДВЕ ЖИЗНИ — ОДНУ КАК НА СЦЕНЕ ИЛИ В КИНО И ВТОРУЮ, МОЖЕТ, САМОЮ ДРАМАТИЧНУЮ — ТАЙНУЮ



04

° 3
Отец писателя
Кирилл Нагибин.

° 4
Мать Ксения Алексеевна с сыном Юрием.

Уже в 1917-м это здание станет «Домом печатника», ибо его займет «штаб революционных рабочих-печатников», а через несколько лет все 705 жильцов явочным порядком узнают, что они живут в «доме-коммуне ОГПУ». Кстати, «социальное взросление» будущего классика началось с необыкновенного подвала этого дома, где от «старого режима» сохранились винные погреба, откуда пацаны «тырили» пустую тару. Наш же герой вытащил оттуда целый ящик. Хотел, сдав бутылки, накупить портретов классиков марксизма-ленинизма, украсить ими школу и — «быстрее попасть в пионеры». Увы, более ушлые «кандидаты в пионеры» опередили его: потащили в утиль и утюги, и серебряные ложки. А когда дело вскрылось, то от пионеров отлучили как раз Юру, да еще с на-пугтствием: «Танцуй, мальчик, отсюдова!».

Чистые пруды, юность, молодость, война. «Чудо первого скольжения на коньках, когда «снегурочки» становятся вдруг послушными, и ты обретаешь крылья, — напишет о детстве, — первая горушка, которую ты одолел на лыжах, первый дом из глины, вылепленный твоими руками». Чудо — школьная любовь к Нинке Варакиной и ревность девочки из соседнего подъезда, и первый друг, и первая драка, и пер-

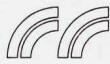
° 5
Армянский пер., 9/1/1.



05



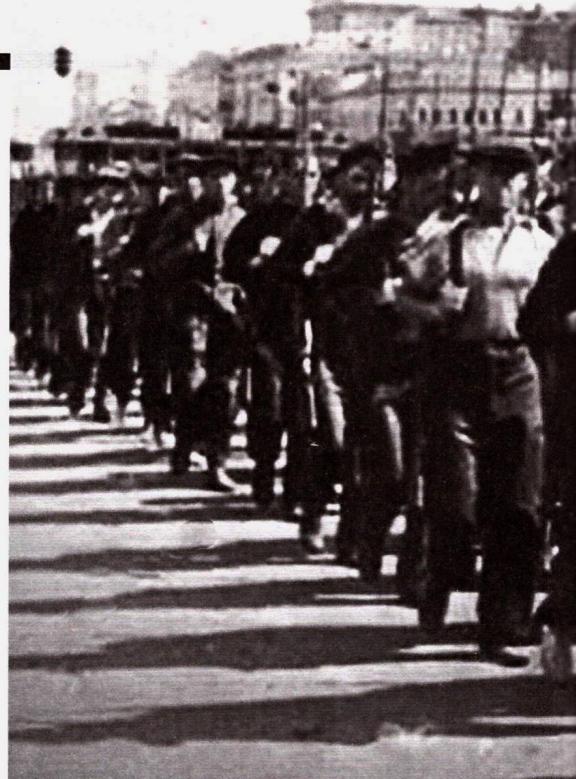
ПОКАЗНАЯ УДАЛЬ, ГУСАРСТВО, РОЛЬ ПОБЕДИТЕЛЯ (ВСПОМНИМ ХОТЯ БЫ ЕГО СЦЕНАРИЙ «ГАРДЕМАРИНОВ»), И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ «ЧУЖАК», «ИЗГОЙ», «БАРИН», «БУРЖУЙ». ВОТ НАЧАЛО РАЗДВОЕНИЯ ЕГО...



06



07



вой гол в ворота (тренер «Локомотива» скоро пообещает ввести его в дубль столичной команды), и мечты о работе в угроизиске—всё это было! Показная удаль, гусарство, роль победителя, которую напяливал на себя (недаром последними его киносценариями станут всем известные ныне «Гардемарины») и в то же время — «чужак», «изгой», «барин», «буржуй».

Вот начало раздвоения его. Танцуй теперь, мальчик, если сможешь!..

Дома мать, потомственная аристократка, день и ночь двумя пальцами барабанившая по «Ундервуду», чтобы заработать на жизнь, но всех вокруг называвшая «холуями»; отец Марк, по-домашнему Мара, «незадачливый биржевик» (ему они будут носить передачи на Лубянку) и он сам—кто, как и мать, презирал «холуйское стадо» одноклассников. «Тот—глист, извивающийся под фуражкой, те—стрижены от вшей; в чиряках и прышах пролетарские дети деревенского вида», они все—ему «чужи раньше, чем он им чуж, и, мнится ему, что всё разъяснилось, когда кто-то из них назвал его «жидом». «С чем можно сравнить страдания, которые причиняла мне моя недорусскость?!—возопит в конце жизни.—Вот трагедия: быть русским и отбрасывать еврейскую тень...»

Да второй (а вообще-то третий) муж матери тоже оказался евреем—писатель Яков Рыкачёв (Шихман). Именно он давил, «толкал» его к писательству, пока юноша и сам не пристрастился к нему (это же новое чудо: преображать и себя, и жизнь в слове!), но семья решила: ему надо поступать (это же практически!) в Первый мед. Поступил, но почти сразу сбежал (кровь и морг отвратили) на сценарный во ВГИК. И тогда же, в 1939-м, поперся «в наглую» в ЦДЛ, где на каком-то вечере прочел рассказ, как 17-летний парень домогался любви взрослой женщины.

° 6

Отчим Марк Левенталь.

° 7

Мать с третьим мужем Яковом Рыкачёвым.

° 8

Маша Асмус.



Рассказ разругали, но вступил Катаев, председатель вечера, да вошедший Олеша поддержал: «А рассказ-то хороший...» В итоге два московских журнала сразу напечатали рассказы «Двойная ошибка» и «Кнут». Вот вам за «чужака»! Но о биологическом отце молчал уже наглоухо, даже начал испытывать к нему, расстрелянному, некое отторжение.

Позже, опровергая как бы и собственное рождение, цинично бросит: «Не мог что ли гондон надеть?!

А так всё было хорошо, даже отлично: литература, споры, новые друзья, даже первая жена —Маша Асмус, дочь философа, профессора Литинститута, которую «отбил» у поклонников. Но—война. И когда ВГИК эвакуировали в Казахстан, его мать—все-таки дворянка!—нервно покусывая губы, вдруг сказала: «Ты не находишь, что Алма-Ата несколько далека от тех мест, где решаются судьбы человечества?..»

И он пошел в военкомат! Тоже—кровь. Ведь в душе он, молодой честолюбец, видимо, уже тогда считал себя как бы сыном Достоевского (!) и братом Чехова—так, вслед за критиком Аннинским, скажет о себе потом.

**«Заблудившийся человек».
(Подколокольный пер., 13/5)**

Ну-ка, попробовал бы кто назвать его «заблудившимся»? Получил бы по полной! Но так сказал после кончины писателя его биограф Юрий Кувалдин, тот, кто не только взял в 1994-м из рук Нагибина рукопись «Дневника», но и первым напечатал эту «бомбу» (его слово!). Кувалдин выразился прямо: Нагибин «как в дремучем лесу, заблудился в своем родстве, в женах, в пристрастиях, в своих взлетах и падениях, в друзьях и знакомых, даже в



09

своих бесчисленных собаках!.. Это какой-то необъяснимый феномен!.. Тут не то что комплексами обзаведешься, тут шизофреником станешь!...»

Нет, шизофреником наш «аристократ» не стал—стал клаустрофобом. Это не фигура речи, он натурально боялся закрытых пространств: подвалов, гротов, даже купе в вагонах. Просто на фронте его дважды заваливало землей, после второй контузии и возникла эта болезнь. Он, золотой медалист, прилично знал немецкий, и его отправили в «7-й отдел» Волховского фронта—контрпропаганда. Ездил на передовую в «радиопередвижке», сбрасывал с воздуха листовки. Был свидетелем трагедии 2-й Ударной армии, окружения и пленения генерала Власова, но комиссовали его, когда с одинокой фашистской «рамы» в небе прилетел тот второй разрыв. Контузия, белый билет, Москва и не просто клаустрофobia, но и какой-то странный тик, когда рука его непроизвольно взмахивала и совершала нечто, похожее на крещение.



10



ОН БОЯЛСЯ ЗАКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ: ПОДВАЛОВ, ГРОТОВ, ДАЖЕ КУПЕ В ВАГОНАХ. ПРОСТО НА ФРОНТЕ ЕГО ДВАЖДЫ ЗАВАЛИВАЛО ЗЕМЛЕЙ, ПОСЛЕ ВТОРОЙ КОНТУЗИИ И ВОЗНИКЛА ЭТА БОЛЕЗНЬ



° 9

Добровольцы
1941 года.

° 10

Ю. Нагибин.
Человек с фронта.

° 11

Подколокольный пер.,
13/5.

° 12

Валентина Лихачева.



Нет-нет, в Бога не уверовал, напротив, бешено закрутился в водовороте, пусть и военной, но столичной жизни. Хочел взять инвалидность, да мать сказала: «Попробуй жить как здоровый человек». И он—попробовал. И то сказать: если клаустрофobia—боюсь закрытых пространств, значит, открытые пространства—это, считайте, сама жизнь. А он, авантюрист и рисковый, ее-то как раз и любил! Редкие поездки на фронт уже в качестве военкора «Труда», вхождение в большую литературу (с Андреем Платоновым, другом семьи, даже ездил на могилку сына его, где тихо распи-

вал «четвертинку»), работа над первой книгой (1943), ну и, конечно, женщины—легкая возможность прорваться уже не в литературу даже—в «большой свет». Какая уж тут клаустрофobia, если он—«жизнивюб», «пьевбой», «гувяка», картиавший от рождения—пустился во все тяжкие.

Жить стал в Подколокольном переулке, где развелся с Машей Асмус и почти сразу женился на дочери Лихачёва, директора автозавода им. Сталина, члена ЦК, ministra, крупнейшей фигуры военной Москвы. Вот когда он, 23-летний «Печорин» (а так его, интеллигента, читавшего Гете в подлиннике, «черного романтика» и «нового Тургенева» еще назовут), схватил удачу «за бороду». Беззаботно, почти танцуя, сразу ворвался «в круг советских бонз»—от маршалов до министров!—в «жизнь разгульную, залитую вином», «Жил я размашисто!»—усмехнется потом. А от «нomenклатуры» не оставит живого места, опишет и «жадный расхват» ношеного американского тряпья, и дикую грубость пиров, шуток тестя и его сановных гостей, «брончавших орденами, как коровье стадо колокольчиками».

Женитьба его, конечно, была расчетом. А что? Дворяне во все времена женились на высоких чинах, богатстве невест, родовитости... Пусть Валя, жена, была и не ровня ему. Знакомая, знаяшая их, заметит: «Валька была чудовищем! Хамски-плебейского вида, да еще и некрасива. Никакие наряды не могли это скрыть...» Зато хороша была ее мать—«золотая моя теща»!—с которой он закрутил такой роман, что потом не сможет и вспомнить: шла ли еще война в те дни или уже кончилась. Тайна, удаль, романтика! И в «Доме на набережной», и на подмосковной даче тестя, к которому, как к любому начальству, относился с «ненавистью, презрением и почтением», он и кропал статейки «об очередных победах нашего оружия», и—кормил



11

«с руки» страсть свою. В повести «Моя золотая тёща», опубликованной, когда стало можно, «со смаком» все и описал. Тут и «округлая дароносица живота» (тещи), и «копалове ущелье с живым, будто дышащим кратером» и как он, смеясь, сперва «накалывал ее через потолок (совокупляясь с женою на 2-м этаже) на раскаленный шампур страсти».

Рухнуло все в 1948-м: «с позором, под улюлюканье, насмешки, презрение,—запишет,— кончился пятилетний период моей жизни». Говорили, что, спасаясь от лихачевской ярости, выпрыгнул в окно в одних трусах. Прям как в бестселлерах: то ли мушкетер, то ли—гусар...

«Хочется марать много»
(Нащокинский пер., 3-5,
Лаврушинский пер., 17
и ул. Черняховского, 4)

Потом будут эти три дома (все—«писательские») и еще четыре брака—(Елена Черноусова, эстрадница Ада Паратова, поэтесса Белла Ахмадулина и переводчица Алла Колясина). Но он, и впрямь «заблудившийся», будет блудить и баснословно в жизни, и—многословно в книгах. Сам опишет кутежи, скандалы и драки в ЦДЛ: «блаженная тяжесть удара», «лежачего не бьют: чепуха»—и бьет упавшего каблуком в ребро»...

Оруэлл, сказавший о «честности» писателя, выдавал за день работы не больше 3 страниц. А наш «герой» выступжал на «Эрике» по 15–20 страниц, а книгу в 10 печатных листов мог сварганить за 10 дней—даром, что не мог потом точно и подсчитать их. Нарочитое многослowie, «листаж» и... рублики. И все жанры—городская проза, деревенская, военная, историческая, охотничьи и детективные рассказы, рассказы для детей и даже сказки. И ведь больше 40 фильмов, где среди большинства халтурных—и знаменитый «Председатель» с Ульяновым (за одну сцену из него Евтушенко встал перед ним на колени!), и «Директор», на съемках которого погиб Урбанский, и «Красная палатка», и даже получивший «Оскара» «Дерсу Узала».

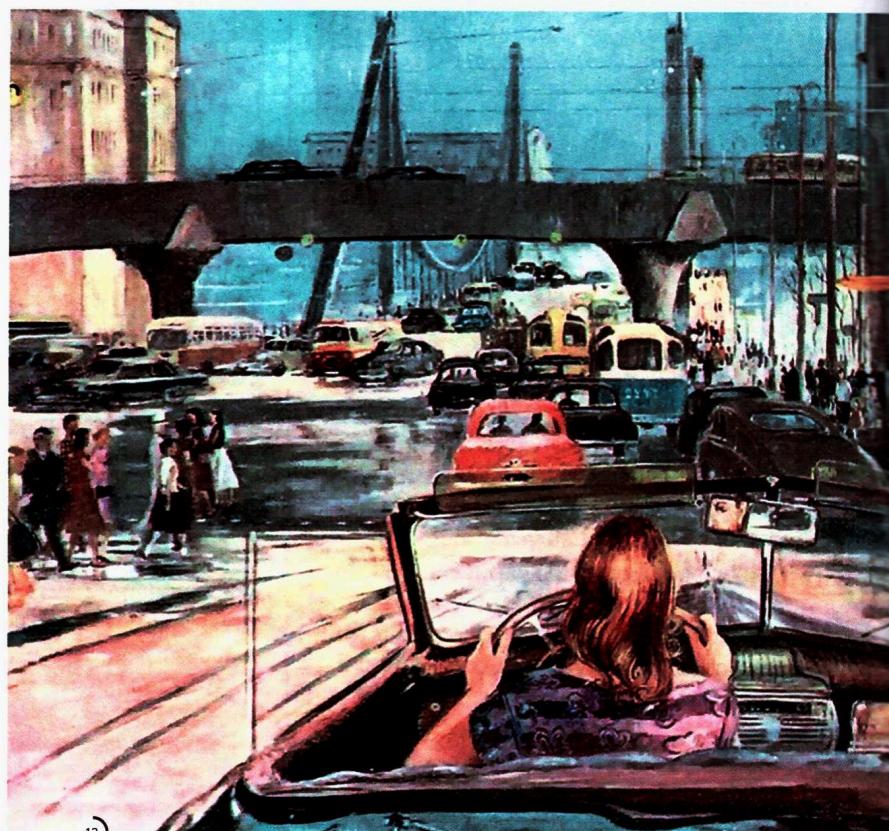
Остальное сам назвал «халтурой», которая может и была на уровне «советской литературы», но истинную цену он ей знал. Не очень-то и заморачивался с этим, прямо говорил, что пишет ради возвышения над «холуями», барской жизни, погони за антиквариатом, машиной, роскошной дачей, двумя поварами, садовником, сменными личными шоферами и шикарными приемами с икрой, осетриной, коньяком.

«Мой отец—Достоевский»—помните его слова? А значит: «Все прочие существа, вылезшие из женского лона, мне малоинтересны. Они начинают меня интересовать, только когда их жизнь перекладывается в Слово, в знаки». И цинично добавлял: «Стоит подумать, как бездарно, холодно, дрянно исписанные листки могут превратиться в чудесный кусок кожи на каучуке, так краси-

во облегающий ногу, или в кусок отличнейшей шерсти, в котором невольно начинаешь себя уважать... тогда... хочется марать много, много...»

И марал.

После войны—за Сталина, за колхозы, потом и всегда—за «родную советскую власть», которую истово ненавидел с рождения. Марал, угодничая, скругляя углы. И до слезы хохотал в



° 13
 Ю. Пименов. Новая Москва. 1960 год.

застольях, как не хотели печатать в «Литературке» его статью о колхозе «Шлях Ленина», требуя «конца» ее. «Звонил, —захлебывался смехом,— сам Симонов, прекрасный-де материал, колхоз электрифицирован, а дать не можем, нет конца. Я психанул, говорю, ладно, диктую и—заорал: «Шляхом Ленина, дорогой Сталина колхоз идет в коммунизм!»—Слышу оттуда—«Гениально!...»

Все понимал. Да и я понимаю его. Ну чем плох фильм «Верные друзья» его ближайшего друга тогда Александра Галича? Чем плох «Председатель» Нагибина? Их и сейчас крутят по ТВ.



° 14
 Дом в Нащокинском переулке, 3 перед сносом.

А ведь «Председателя» власти запретили на целый год, из-за чего Нагибин схватил первый инфаркт, а потом, вдруг дали Ленинскую премию... Ульянову — не ему. Вот это вот — «недодано»! — свербило душу «сыну Достоевского». Но втайне, в минуты откровения с собой, гораздо более мутило главное: знание самой важной правды и — невозможность высказать ее.



15



ОН, КОНЕЧНО, ПОНИМАЛ, КАК ТРУДНО НАПИСАТЬ ВЕЩЬ, ЗА КОТОРУЮ ОТВЕТИШЬ ЖИЗНЮ. ПОПРОБОВАЛ, НАПИСАЛ. НО ЗАКОНЧИВ ЕЕ ЕЩЕ В 1950-Х, ВЫШЕЛ В САД И... ЗАКОПАЛ РУКОПИСЬ



16

РИА Новости

Невозможность или все-таки — нежелание? Ведь знал и о трагедии Платонова, и об Ахматовой, и о современниках Шаламове, Домбровском, Солженицыне.

И уж, конечно, понимал: нетрудно впервые «пустить в литературу» слова «трахаться» или «мастурбация», трудно написать вещь, за которую ответишь жизнью.

Он попробовал, написал. Но, закончив ее еще в 1950-х, вышел в сад и... закопал рукопись! На 30 лет закопал повесть «Встань иди» — о репрессиях, о приемном отце — о Марке Левентале,

° 15, 16
Афиша и кадр из знаменитого фильма «Председатель».

° 17
Обложки книг Юрия Нагибина.



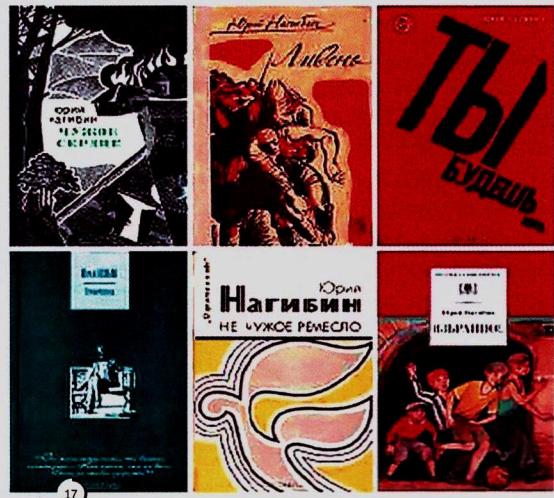
° 18
Лаврушинский пер., 17.
° 19
Ул. Черняховского, 4.

умершем в 1952-м, в ссылке, в далекой Кохме, куда ездил. «Моя жизнь, — шепнул жене, — будет прожита нормально, если я напечатаю эту повесть. Я выполню свое предназначение. Все остальное во мне — дрянь, мелочь...»

...И? — спросите. И, думаю, тут же вставил в «Эрику» очередной лист халтуры.

Ностальгия по настоящему (ул. Черняховского, 4)

Когда-то, тоже в «мохнатые времена», в 1880 году, царский сановник и тайный советник (что-то «по рангу» вроде члена ЦК Лихачева), привел к Достоевскому своего сына, пописывавшего стишкы. Диму Мережковского, кстати, не слабому прозаику, номинанту Нобелевки. Привел, дабы узнать: будет ли из сына «толк»? Клас-



17

сик послушал мальчика и изрек: «Вы пишете пустяки. Чтобы быть литератором, надо прежде страдать, быть готовым на страдания...»

Вот, думаю, чего не хватало нашему «сыну Достоевского».

Страдал ли он? Да, но как все мы: от любви, предательств, зависти соперников и уж совсем от пустяков. Но не за правду, не за ту честность, цена которой сама жизнь.

Понимал ли это «рафинэ» Нагибин? Разумеется. Еще в 1955-м записал в дневнике: «Я все время хотел почувствовать себя настоящим. Все



мое существование наполнено было ложью, я никогда не страдал по-настоящему. Я натравливал себя на страдание, я играл... в признательность, в жалость, в любовь, но всегда во мне оставался нерастворимый осадок». И, ощущая его в себе, он тем не менее глушил в себе эту правду, топил в водке, в бравых гулянках, в выездах со свитой на охоту, в манящей «загранке». Что говорить, боготворивший его Кувалдин вздохнул: он «действительно был раздвоен, как Голядкин у Достоевского: на поверхности одно, а внутри совершенно другое».

«Двоение Нагибина»—назвал свое эссе о нем и Солженицын. Эх, если бы? Не раздвоенность—расчетверенность раздирала его. Жизнь на сцене, и жизнь в себе, писанина в правый ящик стола (для издательств) и нечто тайное, под ключ—в левый... Так стиралась личность красивого, одаренного, сильного физически и островерткого человека.

Так превращался Нагибин в «Нагибона», как звали его уже.

Виктория Токарева, писательница, увидев его, ахнула: «Он отличался от всего писательского поголовья». Он собрал на даче всех своих жен. «Их штук пять,—пишет она.—Здесь же последняя жена Белочка. Она создала красивые бутерброды, сверху каждого—зеленый кружок свежего огурца. Время от времени одна из жен высекает из-за стола и бежит на кухню рыдать... Можна понять. Все остальные мужчины рядом с Нагибиным—серые и тусклые». И конечно, эрдель



20

Д. Давыдов,
Б. Ахмадулина, М. Гасс,
Ю. Нагибин, Б. Гасс.

21

С Беллой Ахмадулиной.

его рядом, ему дают бутерброд, но чаще он берет его сам, прямо с тарелок. «Я поражаюсь,—заканчивает Токарева.—В моем понимании прежние жены в гости к ушедшему мужу не ходят. И собаки знают свое место... Но у Нагибина можно все, не существует никаких запретов...»

Тут все правда, кроме одного: «Белочка»—поэтесса Ахмадулина—не последняя, предпоследняя жена «Синей бороды», как, хихикая, звали за глаза его, многоженца. Но в их ряду и для него она—первая. «Его изумило открытие, —скажет потом Елизавета, дочь Беллы от следующего мужа,—что можно так ощущать и узнавать мир...»

Какая, казалось бы, пара! Крупнейший прозаик (а талант его признали Аксенов, Гладилин, Галич, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава) и—крупнейший поэт. Дивная любовь! И что же? Он, прожив с ней 8 лет, крикнет «Вон из моего дома!» и запишет в «Дневнике»: «Ты распутна, за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой... Ты недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеешь играть беззащитную растроганность». А она, его первая—все-таки первая настоящая любовь, кинет на прощанье: «Паршивая советская сволочь!»

Каково?!

А ведь как любились! Словно знали друг друга даже до рождения Христа. «И мы увиделись. Ты вышел из дверей. Всё кончилось. Всё начиналось снова,—напишет ему в стихах.—До этого не зачислялось дней, как накануне Рождества Христова». Да и о счастье своем писали почти схожими метафорами. «Мы любили,—скажет он,—с таким доверием и близостью, словно родили друг друга». А она, «шаровая молния» его, напишет даже прямей: «В Юрином тепле я примостилась в тот уют, из которого я вырвалась при рождении...»

Он преклонялся, молился на нее. Это ее защищая, послал насмешника на пол в ЦДЛ—помните «блаженную тяжесть удара» его? Любил. Но понимал: уже он ей не ровня. Сразу признал свою «вторость». Заметьте—в творчестве! Его изумила как раз та честность, когда на карту ставишь жизнь. Честность, о которой он лишь мечтал.



РИА НОВОСТИ



22

«Я расстегнул все пуговицы»

Стубили их рай и ад жизни. Загулы, по-вальное пьянство (как заметит его мать, «уезжают два красавца, приезжают две свиньи») и ощущение, что им—все можно. Ведь из их коттеджа сбежал в ночь Бродский, так хотелый познакомиться с Беллой.

«Ужин нас ждал роскошный,—вспомнит Найман, поэт.—Хрусталь, фарфор, серебро; водки, бифштексы, зелень, антикварный стол, за которым ели... Дальше было безобразие... просто пьянство... какие-то выкрики, гримасы, какие-то персики, сок которых течет тебе в рукав... Нас отвели в спальню, где стояла широченная кровать... Я проснулся, потому что Бродский настойчиво меня будил. Горела лястра... Сказал, что не может оставаться в доме больше ни минуты, пошли. Я спросил, который час. Полтретьего... Мы оделись и вышли в открытый космос. Мотаясь и застревая в сугробах, чудом добрались до шоссе. Одинокий грузовик подхватил нас...»

Богема не выдержала богемы! И главное: если Белле для стихов нужен был лишь клочок бумаги, то ему, педанту, нужен был распорядок. «Вставал в 7, делал зарядку,—запишет Алла, последняя жена,—в 8 на столе должен был стоять легкий завтрак: геркулесовая каша, три штучки кураги, два расколотых грецких ореха и чашка кофе. Если это было готово в четверть девятого, сердился. Если обед запаздывал—рвал и метал...» И так—26 последних лет. Рвал и метал домашних, чтобы... Чтобы «рвать и метать» в «Дневнике»—«гениальной книге», по словам Кувалдина, от которой к старости из глаз писателя ушел не только цвет, они стали, сказал, «как бумажные»...

«Я расстегнул все пуговицы!»—рявкнул, передавая рукопись. Вот, дескать, вам за «чужака» и «изгоя».

Всех измордовал—как «каблуком под ребро»! Евтушенко, «позер и ломака», не добр, а «весь пропитан злобой», Булат «не удовлетворен, замкнут и черств», Галич, друг, умер не

° 22

Алла Нагибина.

° 23

В. Калинин.

Король с Никитской.

1981 год.

от инфарктов, нет, а «от повышения дозы морфия», редакция журнала, куда входил одно время,—«вонь носков, немытых тел, перегара». А остальные (через страницу): холуи, люпены, холопы, сброд и быдло, совки и охлос. И—через каждую страницу жалобы («не пустили в Данию», «тянут с фильмом»), хвастовство («увел даму, побил мужа, съел бифштекс») и—вечный плач («Не дано, недодано, обошли»).

«Несчастный человек,—скажет драматург Зорин.—Без всяких одежд его жизнь предстала значительно мельче, чем даже казалась». Но главное слово, выловленное уже мной—«вакуум». Жил в вакууме. «Мне не хватает воздуха...». Помните, он, клаустрофоб, любил открытые пространства, жизнь? Теперь сама она стала вакуумом, где задыхался.

И—задохнулся...



На похоронах его не было ни одного писателя, одни киношники. На Новодевичьем жена Алла поставила памятник «по собственному эскизу», на доме в Армянском в 2018 году повесили доску. Но был ли он счастлив, когда, наконец, высказался вполне?

«Я думаю, писатель и счастье—сказала Алла,—понятия несовместимые. Из счастья ничего не рождается... Просто он расплывался с прошлым теми словами, которых оно заслуживало... Может, этот долг—и держал его. А сказал—и умер...» Так ли это? Увы. Сам писатель успел выкрикнуть, что жизнь его «заслуживает одобрения лишь как черновик. Набело я прожил бы ее иначе...» Считайте, зачеркнул этой фразой не только прожитое, но и самое честное о себе—«Дневник».